

ПАМЯТИ В. Я. СТОЮНИНА (К 25-й годовщине дня его смерти)

Имя Стоюнина не только не может быть забыто русским обществом, но оно должно стать в его памяти одним из самых заветных, самых национальных имен — понимая это, разумеется, не в пошлом и столичном смысле националистического толка, но в широком смысле национально-общественного движения; в том — в национализме, как Пушкин, и Белинский, и Достоевский, и Михайловский.

У нас есть педагогические имена более громкие, напр^{имер}, Ушинский, но никто не имел в той сравнительно тесной области, в которой работал Стоюнин, такого глубокого влияния, такого национального значения, как он; не как теоретик или организатор, но именно — как учитель — выражался обычной формой: учитель словесности.

Его педагогическое мировоззрение было проникнуто непоколебимым чувством свободной общественности; верой в русское общество, в частности — верой в русских женщин. Будучи сам человеком огромной стойкости — до суровости, до самоотвержения, он, поэтому, не раз страдал, и очень тяжело — от знакомых нам лиц: сначала — правительственного вмешательства на его уроках в петербургской третьей гимназии, а затем и прямого гонения, когда он был отставлен от должности инспектора московского Николаевского института и обречен оставаться надолго не у дела, проживая частным человеком. За несколько лет до смерти он организовал женскую гимназию имени своей жены, первую идеиную женскую школу у нас, существующую в том же виде до сих пор. Ему принадлежат превосходные по общественной силе статьи на общие педагогические темы; несколько образцовых учебных и научных изданий... И все-таки не это все определяет то место, которое он занял в нашей культуре, и за которое мы, я думаю, все еще не достаточно ему благодарны.

То, что Стоюнин был «учителем словесности», — не было одной случайностью, одной формальной подробностью его педагогической жизни. В истории русской общественности, это имело исключительное значение, такое же, как исключительное, необыкновенное, великое значение имела для нас вся наша литература.

Прошло более полувека с тех пор, как Стоюнин начал давать свои уроки русского языка и литературы, — и наша жизнь с тех пор развернулась очень широко, несмотря на все препятствия, отчаянные и правительственные, и нашла для себя множество разнообразных путей; но в те годы стать учителем словесности — это значило в высшей степени почувствовать дух времени и его потребности; может быть — ответить на очередную потребность нации. Недаром понятие нации, сознание общественно-национальных требований, жило в Стоюнине сильнее всего и стало основой всех его рассуждений на общие темы. Как педагогический мыслитель, Стоюнин, собственно, никогда не теоретизировал отвлеченно; он всегда исходил из понимания исторических обстоятельств, и в этом — одна из

самых привлекательных особенностей его педагогизма, сближающая его с Пироговым.

Как слагалась наша история? Какие ее пути? Каким концом своим должна тронуть русскую жизнь русская образованность, русское воспитание — в эту историческую минуту? Вот вопросы, которые он стал решать, как только дал себе внутреннее согласие сделаться учителем.

Он не хотел сначала, не думал, что будет учителем. Его толкнули на это другие — и случай. Но, сделавшись учителем, он сразу понял, какая в этом была историческая необходимость в то время, т. е. в начале 50-х годов. Он был вообще очень живой и талантливый человек, но долго не находил себя. Первые его увлечения были не общественные, а художественные: поэзия, драма, балет — до страсти, до самых панических преувеличений. Не зная еще, что выбрать, он, кончив гимназию, поступил на восточный факультет. Думая о своей будущности, он мечтал о службе в посольстве, где-нибудь на поэтическом Востоке, и в то же время мечтал быть писателем, даже поэтому, восхищался Гафизом, наряду с Пушкиным и еще молодым тогда Байроном. Семейные обстоятельства вынудили его скорее искать места; друзья отговаривали его при этом, отдаваться литературе — и толкали в школу... Он колебался и спорил, но послушался, по необходимости, и пошел в школу... И в школу-то и понес свою литературную страсть, любовь к литературе — со всем тем, что во всякий подлинной любви заключается: с верой в исключительную ценность предмета своей страсти для общества. Начиналась крымская война, с вызванными ею тревогами и бурями. Воспитанный, как и все в те дни, на синтетических идеях Белинского, он связал в своем сознании задачи литературы и общества в одно, заранее соединяясь и с начинающимся освобождением, полагаясь на то, что провалено вокруг, назван «реформ», как личным делом, и невольно все больше вносить в свою художественную страсть общественное возбуждение. Это опытное ощущение двух стихий — художественной и общественной — выразилось и в лучшей из его книг — «О преподавании русской литературы» — единственно оригинальном из всего, что у нас писалось по этому самому родному и труднейшему из поднятых школьного образования. И в синтезе этих двух стихий и лежит своеобразие того метода, который он внёс и своей книгой, и самим преподаванием; метода, который с того времени и отличается наша школа от всякой другой. В этом «стоюнинском методе» чувствуются веяния и Белинского, и Григорьева, и Добролюбова, — типичных, хотя и очень разного настроения, русских людей, схожих в одном — в общественно-отношении к литературе; веяния всей нашей критики, от ее начала до наших дней, порожденные той уверенностью, что литература не только игра и восторги, но и совесть общественная.

Здесь особый литературный идеализм, до последних дней остававшийся неотъемлемым свойством нашей литературы, только ей присущим. Его начало в Белинском. Стоюнин внёс его в школу и сделал его достоянием русского воспитания, показав тем, что у развивающейся нации есть свои — не стоячие, а двигающие традиции. Литература и общество не

разделимы. Литература есть величайшее явление общественного развития. Изучая литературу, мы тем самым изучаем общество. Художественное изучение литературы есть с тем вместе изучение общественное, потому что в литературе нация сознает себя и художественно, и общественно. Изучать литературу — это значит изучать самую жизнь, и сознавать себя, как часть национального целого, понятого в смысле общественном. Это идет столько же от Белинского, сколько и от пироговских «Вопросов Жизни», перед которыми Стоюнин благоговел. «Вопросы Жизни» и «О преподавании русской литературы» — явления одного духа, одного волнения.

Преподавая литературу, учитель решает со своими учениками или ученицами вопросы жизни. Он не только дает им знания, но и *развивает* (как любили тогда это слово — как святое!). Литература, введенная в таком понимании в школу, становилась знанием жизни, учителем словесности — учителем жизни. Наш исконный литературный идеализм получил, таким образом, благодаря Стоюнину, свое воплощение. Национальная литература смело призывалась стать основой общественного воспитания — и этим-то Стоюнин так национален.

На самом деле, ничтожная литература не вызывала к себе такого поклонения, как у нас. Литература заменяла нам издавна школу — всю культуру; потому что она была единственным самостоятельным культурным событием в глухие дни нашего бытия — местом притяжения всех наших стремительных сил, чудом среди пустыни. Мы стеснялись Европы до тех пор, пока у нас не появилась литература. До того — Европа по всем решительно казалась нам, несомненно, выше нас. И эта гордость за свою литературу перед всем цивилизованным миром стала не только самоощущением мелкого национализма: «Мы не хуже вас, а то — и лучше! у нас не хуже, чем Гете, есть Пушкин; не хуже Шекспира есть Достоевский!»... Нет! мы могли почувствовать себя не ниже соотечественников Гете или Шекспира лишь по другой, внутренней и существенной причине. В нас могла развиться эта справедливая гордость лишь при том условии, если и Пушкин, и Достоевский, и Тургенев, и все другие — вошли в наше сознание, воспитали нас, претворившись в нашу культурную плоть; если после них, мы уже стали не те, чем были до них. И русская литература, действительно, питала нас. Мы от нее росли, поднимали выше наши головы; сознавали свое личное достоинство; грелись в лучах такого солнца, какое редко где светило. Мы долго в нем только и находили национальное утешение.

Вот что понял всеми своими художественными общественными сочувствиями, слитно и одновременно, тот скромный учитель словесности, каким был в 50-х и начале 60-х годов Стоюнин — то, что получило очень скоро уже очень широкое распространение. Сколько мальчиков и девочек впитали в себя это сознание, как прониклись этой верой и передали ее своим детям, непосредственно от самого Стоюнина, или от его последователей! Он сознал это один из первых, тогда, когда солнце нашей литературы только что поднялось, когда оно только что породило такие художественные восторги, как восторги Белинского и Григорьева, такую гражданскую

требовательность, о которой вскоре заявил Добролюбов. Все воспитывала тогда литература, сама по себе — вне школы и помимо нее. Но превратить живой источник влияния на общество в предмет школьного воспитания было делом тех, кто уже сами подверглись этому влиянию; и не в предмет отталкивающей школьной учебы, но именно в средство общественного воспитания, как это понималось после Белинского.

Что у нас есть общественные силы, по нет общества, — Стоюнин всегда болезненно сознавал, как Белинский болезненно сознавал, что у нас есть литературные силы, но нет литературы. И так же, как Белинскому, это сознание причиняло ему национальную боль. Стоюнин хотел вызвать общество, как живое единство, как развивающуюся нацию при помощи изучения русской литературы. Это был замысел — образования общества из литературы. Так как критика Белинского совершила свой подвиг и придала разрозненным литературным силам единство, то Стоюнин и решил, что литература, созревшая у нас раньше общества, может вызвать его, собрав разрозненные силы в единство. Это был просвещенный и страстный патриотизм, в основе которого лежала идея общественности, раскрывающейся при помощи лучшего из национальных достояний — литературы. Такова культурная доля Стоюнина. Если верно, что литература создается не одними писателями, но и читателями, то не менее верно и то, что она создается и учителями словесности, готовящими читателей. Но у нас такой учитель, как Стоюнин — и он был первый из них — способствовал не только развитию литературы, и в зависимости от этого общественности: они стояли перед задачей — обучая литературу, вызывать на свет то общество, которого еще не было. Как все люди 50-х годов, Стоюнин был слишком хорошо научен, что значит это отсутствие, пережив сперва севастопольскую обиду, потом, когда правительственные обещания или вовсе не исполнялись, или исполнялись едва ли наполовину, — тягостную разочарованность. И в том, и в другом случае он переживал *национальную боль*. Так легли в основу своеобразного метода преподавания русской литературы в наших школах — два ощущения: страстная вера в литературу и страдание за нацию, которая становится, но не стала еще обществом. Стихия художественная и стихия общественная сливались нераздельно. И с тех пор нигде преподавание литературы не приобрело характера такой жизненности — не морализующего, поучительного — в духе скучнейшей отвлеченной морали, как это было во Франции или Германии, но именно в духе свободной общественности. Можно сказать, что в более скромной обстановке средней школы Стоюнин сыграл роль, подобную роли Грановского, создавшего для университета — тоже национальный — тип профессора — воспитателя, проповедника идеализма, обращающего изложение научного знания прямо к сердцам.

Такой же тип учителя словесности — учителя жизни начал собой Стоюнин для школы.

Потому очень скоро — в исходе 60-х годов пришли педагогические волнения, не враждебные Стоюнину, увлекшие и его, но звавшие в другую сторону. И жизнь, и мысль, и образование выдвигали уже не одну литературу, но и естественные науки. Появились первые учителя, увлеченные эстетическим... ...открытием нового света. В 70-х годах внимание к средней школе уступало место школе начальной, народной. Среди новых людей был и Ушинский с реформой начального образования. Стоюнин сам стал одним из первых учителей в «воскресных» школах. Педагогическое воодушевление вообще было поразительное, новая эпоха раскрывала все новые потребности, — по та культурная доля, которую Стоюнин внес своим «преподаванием русской литературы» в историю общества, не была не принята новыми людьми. Напротив. Его метод вызвал новых последователей, и с тех пор эта Стоюнинская доля и остается — уже до сегодня — одним из отличительных свойств нашей школьной жизни.

Но, правда ли, — до сего дня? Живет ли его дело в русской школе и в наших днях? Ведь не легко было бы сознаться, что, то общество, которое хотело вызвать Стоюнин, отказывается от его наследства!

Поэтому нельзя не задать себе этого вопроса. Но как на него ответить? Можем ли мы сказать: да, — сохранило, не отказывается?.. Или у нас все еще нет общества, а есть только разные общественные силы, — и национальная боль таких крепких своей нации и верных общественности людей, каким был Стоюнин, все еще остается неутоленной?

Мы были бы неискренни, если бы стали утверждать, что в нашей литературе неизбежно хранятся прежние традиции, те же самые, из которых исходил Стоюнин и люди его времени. Но все осталось по-старому. Слишком многое и слишком решительно переменилось, особенно в самое последнее время. Наша литература теперь совсем иная, до того непохожая на прежнюю, что эта прежняя, чем больше она уходит в прошлое, все больше представляется каким-то далеким и идеальным былым — «веком минувшим», хотя и «связью предание».

Как отнесся бы Стоюнин к современной литературе? Как быть с нею в школе? Может ли она быть таким же предметом общественно-национального воспитания, как та, с которой имел дело Стоюнин? Не Чехов, не Короленко, не Горький, — ими завершается старый путь! Даже не Мережковский, — он стоит на рубеже. Но — Андреев, Сологуб, Бальмонт, Блок — самые излюбленные имена современности? Брюсов — при всем его «классицизме»? Разве это незначительные величины? Ведь это наше литературное — даже не «сегодня», но для некоторых уже «вчера»! А между тем, могут ли они войти в школу? Вопрос страшно важный, и не есть вопрос о судьбе только литературы, но и всего общества, потому что они не самому делу — нераздельны. Неужели мы вступаем или давно вступили в какую-то совершенно новую эпоху, когда литература уже не может быть силой, общественно преобразующей? Ведь не были же Пушкин или Лермонтов поучительны, моральны, — почему же они легко вводились в школу? Почему, что были гениальны? Но ведь не только гении вводились в школу, и

вовсе не потому, что из них извлекались потрясения. Стоюнин начал с эстетических увлечений и свою «теорию словесности» строил вовсе не на началах гражданского утилитаризма, подчиняясь в своих взглядах эстетике романтической. Что это значит, раз «заветная» связь литературы, общественности и воспитания говорится? Как быть, если распадется? И мы стали равнодушны к таким трагедиям?

Современный преподаватель литературы не может не чувствовать той пропасти, которая легла между нашим литературным прошлым и настоящим, как бы оно ни было талантливо. Или судьба учителя словесности, когда-то передового из передовых людей, большего тем, что и называл национальной болью, — превратится в литературного старовера, вздыхающего незабвенной старине, брезгливо отворачивающегося от литературной новизны? Так из недр нашей школьной жизни поднимается этот неотступный вопрос, обращенный к современности: как быть теперь, если литература будет все больше проникаться тем, идущим в сторону от путей воспитания, во всяком случае — слишком мятежным, слишком потрясающим сердца, духом, каким она проникается вот уже двадцать лет?

Я сейчас никого не обличаю и ничего не решаю, я только спрашиваю. И вопрос этот в моих устах отнюдь не сторонний, потому что он произносится устами того, кто сам проникнут тем же духом. Тень Стоюнина встает перед всеми нами и спрашивает, — и что мы ей ответим? Пусть не покажется, что я хотел бы втеснить литературу в педагогию. Лермонтов никогда не считался и не был по природе своей педагогичен. Однако, Стоюнин мог бы сказать его словами:

...Право, этих горьких строк
Неприготовленному взору
Я не решусь показать...

Чтоб тайный лед страницы знойной
Смутил ребенка сон покойный
И сердце слабое увлечь
В свой необузданный поток?..
Великий поэт отказывался даже от дара поэзии:

О нет, преступною мечтою
Не ослепляя мысль мою,
Такой тяжелой ценой
Я вашей славы не куплю...

В таком сознании писательской ответственности вырастала поэзия прежних дней, не менее мятежная, чем современная, связанная «странной», по кровной и жгучей любовью со своей «отчизной». На том же сознании развивалась и синтетическая критика, всегда взволнованная — равно как за судьбу литературы, так и общества. Из того же сознания выходили такие, тревожившиеся за судьбу русской общественности, учителя словесности — как Стоюнин. — Одно отвечало другому.

Владимир Гиппиус.